

домо никак не разрешимой проблеме движения многих рассматриваемых тел. Однако в последнем случае естественный переход от динамического описания к статистическому существенно упрощает дело» (с. 172).

Иддис, характеризуя современную ситуацию «двух культур» (по определению Ч. П. Сноу) справедливо заметил, что традиционное противостояние материи и сознания, естественных и гуманитарных наук относится не к внешнему миру, а к самому человеку, его интеллектуальной деятельности. И его труд посвящен поиску того объективного зерна всех мировоззрений,

которое бы вело к взаимному пониманию. В своих поисках он опирается на теорию беспредпосылочного познания Р. Штайнера. Можно соглашаться или не соглашаться с отдельными предположениями или выводами рецензируемой работы, но бесспорно, что она ставит новые вопросы и предлагает смелые и оригинальные решения. И, как говорил Штайнер: «Стремление к Истине может собрать всех людей, ибо оно будет содействовать взаимному пониманию» (с. 176). А ведь это самое главное.

*А. В. Козенко*

**Могильнер М. *Homo imperii*: История физической антропологии в России (конец XIX – начало XX в.). М.: Новое литературное обозрение, 2008. 512 с.**

«К 1932 году дореволюционная научная традиция окончательно прервалась и началось осознанное построение советского антропологического канона новыми людьми» (с. 487), тогда как сама «физическая антропология во всех ее вариантах стала ассоциироваться с «биологическим детерминизмом» и восприниматься как угроза планам коллективизации и индустриализации» (с. 486). С 1933 г. антропологические исследования стали связываться с разработкой марксистской теории антропогенеза. «Именно в этой “вспомогательной” сфере сосредоточились занятия послевоенного поколения советских антропологов, которые изучали антропогенез народов СССР с марксистских позиций вплоть до конца советской эпохи, не подозревая, что основатели их дисциплины думали, что работают с авангардным научным и социальным

языком модерности и создают современную “империю знания”» (с. 492). Так в рамках советской антропологии произошла «культурная революция», положившая конец прежним исследованиям расовых особенностей и телесного строения человека. Советский период развития антропологии еще ждет своего исследователя, а книга «*Homo imperii*» посвящена физической антропологии в царской России.

Марина Могильнер хорошо известна своей работой в журнале *Ab Imperio* и публикациями по истории социально-гуманитарного знания в России позднимперского периода. Нынешняя ее книга – плод многолетней работы с архивными материалами и оригинальными текстами первого поколения российских ученых-антропологов, ушедших с исторической сцены в 20-х гг. XX в. Работа Могильнер тесно перекли-

кается с целым рядом современных исследований о науке в царской России, а с некоторыми исследователями (М. Адамс, Д. А. Александров, Р. Джерейси, Н. Найт, Ю. Слезкин, Л. Энгельштейн и др.) она ведет долгий и обстоятельный диалог. В частности, полемизируя с Энгельштейн, автор замечает, что в царской России к началу XX в. естественно-научный язык и биомедицинские метафоры использовались экспертами не для установления границы «между буржуазной маскулинной нацией и социально-политическими изгоями» (рабочими и женщинами), как в рамках викторианской модели антропологии, а между «русскими и инородцами» (с. 329).

Книга Могильнер состоит из трех частей. В первой из них речь идет о становлении «антропологической парадигмы в России» и «парадоксах институционализации» антропологии в пореформенный период. Изначально существовало четыре пути, по которым двигались отечественные пионеры новой науки. В Москве, где в 1863 г. было создано Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии, антропология приобрела «общественный характер». Прежде чем стать полноценной университетской дисциплиной, она развивалась на базе музейных экспозиций, ряда журналов и кафедры, финансируемой из частных пожертвований (Глава 2). При этом «московский путь» оказался самым успешным, а лидеры московской школы антропологии – А. П. Богданов и Д. Н. Анучин, получивший первоначальную подготовку в Париже, – установили идейный контроль над большей частью антропологического дискурса в дореволюционной России. В Казани антропология также была продуктом

местного научного энтузиазма, но ее присутствие было менее заметным на фоне более популярного в Казани – этого «русского окна на Восток» (с. 84) – комплекса археологии, истории и этнографии. «Казанский путь» институционализации антропологии состоял в разработке отдельными преподавателями соответствующей проблематики в рамках различных университетских дисциплин при отсутствии самостоятельной кафедры и некотором росте интереса к антропологии со стороны местных медиков (Глава 3.1). В Киеве появление антропологии связано с именем профессора кафедры нервных и психических болезней И. А. Сикорского. Попытка создания в 1889 г. Антропологического общества при университете Св. Владимира провалилась, но антропология здесь существовала как предмет занятий, а также в форме медицинских экспериментов (Глава 3.2). В Санкт-Петербурге «основными локусами» антропологии были университет и его Русское антропологическое общество, Военно-медицинская академия и ее Антропологическое общество, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого, Психоневрологический институт В. М. Бехтерева, а также Женский медицинский институт, где читались антропологические курсы (с. 108). Антропологический дискурс в имперской столице был фрагментирован, подчас испытывал сильное влияние со стороны германской «колониальной антропологии», проявлялся в лекционных курсах и журнальных публикациях, но при этом не имел того влияния, которым характеризовался московский антропологический дискурс (Глава 3.3).

Во второй части книги рассматриваются основные направления

российской физической антропологии второй половины XIX – начала XX в., их ведущие представители и проблемы, стоявшие на повестке дня. Главной из них была модернизация языка, используемого для описания состава населения Российской империи. К середине XIX в. народы империи, официально различались по сословной принадлежности, вероисповеданию и языку, но при этом не относились к какой-либо расе. Новую классификацию, учитывающую физическое разнообразие, попытались дать антропологи, проводя масштабные антропометрические исследования и пытаясь установить корреляции между физическими параметрами (рост, цвет глаз и волос и т. д.) и национальностью. Д. Н. Анучин, А. А. Ивановский и другие представители московской школы, занимавшие либеральные позиции, признавали неизбежность «метисации» и как следствие преобладание «смешанного типа» (Главы 4, 5). Напротив, такие националистически ориентированные исследователи, как Сикорский, видели свою задачу в том, чтобы провести четкую границу между русскими как представителями «белой расы» и другими этническими группами (евреями, поляками, кавказцами) (Глава 6). Нередко эта академическая работа соединялась с публичными дискуссиями о «природе расы» (описание Анучиным японцев в годы русско-японской войны, дискуссии о расовой принадлежности Пушкина), но при этом ученым-либералам неизменно удавалось нейтрализовать как крайности национализма, так и колониальные и антиколониальные модели антропологических исследований, добиваясь этого посредством контроля над ведущим научным журналом («Российский антропологиче-

ский журнал») и присуждения премий за конкурсные научные работы (Глава 7).

Физическая антропология в царской России неизменно пыталась быть прикладной наукой. В третьей части книги показывается, что наиболее часто антропологические знания в эту эпоху применялись в трех сферах – общественной гигиене, криминальной и военной антропологии. В первом случае (Глава 8) речь шла о том, чтобы применить антропологию для рациональной сборки единого имперского социума, призванного на смену «хаосу имперского многообразия» (с. 357). В частности, обсуждался вопрос о регуляции междоусобных браков, но при этом сама эта идея большинством специалистов осуждалась. Во втором случае (Глава 9) дело касалось решения проблемы антропологии «преступного типа» и выяснения того, что значит «дегенерация» в условиях российского имперского общества. В третьем (Глава 10) – обсуждалось использование научного знания о человеческом разнообразии для создания максимально эффективной и боеспособной армии, в которой бы физические и психологические черты разных народов могли быть использованы в интересах общего дела или, по крайней мере, было бы уменьшено их негативное влияние.

В заключительной части своей работы Могильнер обсуждает вопрос о том, почему парадигма физической антропологии, объединившая большую группу исследователей, работавших на рубеже XIX–XX вв., была заброшена уже в годы Первой мировой войны и окончательно разрушилась к началу 30-х гг. XX в. На это было несколько причин: смена поколений в науке, радикализация

общества, приведшая к закату либерализма, олицетворением которого в антропологии был Анучин, и, наконец, распад самой царской империи, ставшей, в частности, жертвой так и нерешенного национального вопроса. Для лидеров советской антропологической науки, таких, как А. И. Ярхо, старая физическая антропология была уже не более чем пустым звуком (с. 488). Ее «опасная связь» с евгеникой в 1920-е гг. еще более убедила советский научный истеблишмент, что антропология должна играть исключительно вспомогательную роль, ограничиваясь предоставлением полезного фактического материала для изучения вопросов об антропогенезе и соотношения «биологического» и «социального». Тем не менее, и советская антропология на свой лад повторила судьбу своей предшественницы. Как и в царской России, в

СССР национальный вопрос вновь был исключен из пространства серьезных научных и политических дебатов, что привело и к гибели «советской империи», и к новому кризису советской антропологии. Впрочем, данная проблематика, как уже отмечалось, осталась за пределами книги Могильнер. Поэтому можно лишь гадать, какую интерпретацию ей бы придала сама автор.

Опубликованная книга, несомненно, будет интересна не только специалистам, но и более широкому кругу читателей, желающему узнать о том, как конкретные научные знания о физической природе и разнообразии человечества связаны с культурными и политическими реалиями сравнительно недавнего прошлого нашей страны.

*Д. В. Михель*

**Родословная гениальности: из истории отечественной науки 1920-х годов / Сост., вступит. статья и коммент. Е. В. Пчелова. М.: Старая Басманная, 2008. 350 с.**

Как известно, термин «евгеника» в науку ввел Фрэнсис Гальтон. Кузен Чарльза Дарвина и внук Эразма Дарвина, он по собственному опыту создавал важность «хорошего происхождения». Кроме того, он любил заниматься счетом: идя по улице, подсчитывал количество цветков в соцветиях каштанов или считал встречавшихся ему хорошеньких женщин. Эти интересы соединились, когда он стал подсчитывать, скольких ученых дал некий род, и писать об улучшении человеческой породы путем «евгенических» браков. Самой большой бедой Гальтона было то, что у него самого не было детей. Но детей духовных – последователей евре-

ники и науки, которая только зарождалась, – генетики – у него на рубеже XIX и XX вв. нашлось немало. И если в парижском Музее естественной истории Галерея эволюции заканчивается изображением не человека, а его генов, то причина этого отчасти в идеях Гальтона.

Нашли они последователей и в СССР. На одном из первых заседаний Русского евгенического общества Н. К. Кольцов произнес речь о генеалогии семьи, давшей миру Дарвина и Гальтона. Евгеника стала его кредо, его «религией». Кольцов бросил призыв к талантам земли русской оставлять как можно больше потомства и всемерно способствовал развитию